

Анна Кашина-Евреинова  
**Pro domo mea**  
**(7, Rue Boileau, Paris XVI)**

*Источник: Русская мысль. 1970. 13 авг. № 2803. С. 8.*

Заглавие этой статьи не является лишь ходким латинским изречением, говорящим, что речь идет о чем-то очень личном. Нет, я действительно собираюсь рассказать о доме, в котором живу много лет и рассказать «попросту» без ремизовских «вывертов и словесных закорючек», но и без взлетов безудержной фантазии лже-воспоминаний, которыми – увы! начинают что-то слишком заполняться мемориальные архивы. (Этот грех особенно свойственен особам моего пола, к несчастью!).

Те же упомянутые римляне говорили «Habent sua fata libelli». Действительно, бывает иногда какая-то загадочно странная судьба у вещей и у домов: такова она у нашего дома. Ремизов, один из первых вселившихся в только что отстроенный дом, посвятил ему целую книгу «Мышкина дудочка», сочно рассказав о всяких «мамочках», «Едрилах», «Утенках» и пр. жильцах этого дома, виденных им своими «подстриженными глазами». У меня глаза как глаза, но с русофильской искрой, поэтому мне и хочется вспомнить все чисто русское, происходившее в этом замечательном доме. Про него Ремизов не раз выражался: «Наш дом громкий – в улицу – Буало! богат чудесами, заваян чаромутием, напыщен чародеями. И первый чародей из первых чародеев – Николай Николаевич Евреинов» (стр. 39 и др.).

На правах жены «первого из чародеев» и начинаю бесхитростную мою повесть об этом доме.

Живем мы в нем с 1934 года и попали в него совершенно случайно, с уверенностью, что останемся в нем на год-два, пока пройдет кризис безработицы, подкосивший дела мужа и вынудивший нас покинуть дорого

стоивший особняк в том же 16-ом аррондисмане Парижа. И попала я в этот дом вот как прочла в «Последних Новостях», что какая-то дама желает купить подержанную русскую машинку. У меня их было две и одна давно бездействовала. Созвонилась с дамой и пообещала принести ей машинку. Жила эта дама в этом самом доме номер 7 по улице Буало.

Машинку я продала, дом мне приглянулся и вдруг вижу «сдается квартира». Спрашиваю консьержку – сколько. Цена подходит, но суммы за шесть месяцев вперед у меня в тот момент не было. А консьержка мне и говорит: «если согласитесь пока держать одну комнату закрытой – в ней описанная мебель выселенных жильцов, задолжавших за квартиру, – то можете въезжать хоть завтра, внеся всего за пол-терма. (Дело было в мае). А в июле внесете за шесть месяцев, как полагается». Нам надо было срочно выехать от моей сестры, где мы временно поселились, и я приняла условие запертой на время комнаты.

\*\*\*

Первым запомнившимся мне «знаменитым» жильцом нашего дома был милый долговязый юноша, застенчиво улыбающийся при встрече и как-то раз стыдливо сообщивший мне, что он сын Станиславского, хоть в жизни и он, и его знаменитый «папа» зовутся Алексеевыми. Встречаясь с ним у лифта, мы всегда обменивались несколькими словами, а как-то разговорились, и я ему рассказала о моей единственной встрече с его «мамой», актрисой Лилиной.

– Было это зимой 1922 года, и ехали мы с мужем из Берлина в Париж. Сядясь в поезд на берлинском вокзале, вдруг слышим чей-то голос: «Николай Николаевич, какими судьбами?» – Оглядываемся и видим А. Я. Таирова, директора Московского камерного театра. Ну, конечно, минута ахов, охов, междометий и восклицательных знаков. Оказалось, что Таиров тоже ехал в Париж. – А со мной в купе едет Лилина! – сообщил. Т. к. у нас было отдельное спальное место, то мы условились встретиться только утром в Кельне и проехаться по городу. В те времена в Кельне была пересадка и остановка на

несколько часов. Так и сделали. Впечатление от Кельна 1932 года, оккупированного французами, осталось отвратительное.

А до самого Парижа мы уже ехали в одном купе и изощрялись в рассказах о театре и театральных воспоминаниях. Очень жалею, что по молодости и легкомыслию ничего не записала. Помню только, что очень обиделась за Бельгию, которая оказалась такую маленькой, что мы ее проехали насквозь за завтраком в вагоне-ресторане.

Вторым, сразу запомнившимся мне лицом был Алексей Ремизов, «русский китаец», как его называла наша консьержка. Конечно, в обличье Ремизова было куда больше азиатского, чем славянского. Как-то он мне пожаловался, стоя у входа в дом, где обычно происходили все наши разговоры: «Вот пошел покупать чай, а приказчик мне говорит – «вам, конечно, китайского чаю, а не цейлонского!» И сует китайский, а мы с Серафимой Павловной как раз больше любим цейлонский.

Насколько «китаец» Ремизов был тщедушным, маленьким, сморщенным, почти желтокожим и при этом подслеповатым, настолько его «дражайшая половина», Серафима Павловна, была необъятно толста, дебела, вся какая-то розово-белая, с пронзительным взглядом негостеприимных голубых глаз. Мы с мужем называли ее «Манькой-Встанькой». Действительно, она была похожа на русскую куклу – с маленькой головкой и необъятным корпусом и чем ниже, тем шире.

С первых же месяцев нашего вселения в дом я ее стала избегать и вот по какой причине:

Подходил июль, пора каникул. Все знакомые разъезжались или собирались разъехаться. Поднатужившись, мы заплптили июльский терм и три месяца гарантии и осели на финансовую мель: об отъезде нечего было и думать. Смирненно решили проводить их в Булонском лесу, благо он в пяти минутах ходьбы.

Как-то, возвращаясь домой под вечер, я нагнала слонообразную Серафиму Павловну, раздетую в какое-то невообразимо розовое платье все в бантиках. Вижу несет она коробку, в каких обычно продают обувь.

– А, покупки делаете! на каникулы едете! Радуюсь за вас! – воскликнула я. – Куда же направляетесь?

Серафима Павловна вдруг остановилась посреди тротуара, в ужасе замахала руками и, гвоздя меня своими пронзительно цепкими глазами, почти закричала:

– Да что вы выдумали? Куда нам уезжать? На какие деньги? Только бы с голоду не помереть! А вы – уезжаете на каникулы!

Тон ее был настолько убедителен, что я смутилась, почувствовав себя без вины виноватой.

– Ну, простите, что ошиблась, а то я просто порадовалась за вас... – бормотала я, потерявшись.

Каково же было мое удивление, когда на следующее утро, выйдя рано утром за молоком и хлебом, я увидела у нашей парадной двери такси, а около него чемоданы и отправляющуюся на каникулы чету Ремизовых. Я только с упреком посмотрела на Серафиму Павловну, не найдя ничего сказать, а она окинула меня ненавидящим взглядом преступника, пойманного с поличным.

С той самой поры я взяла за правило её сторониться, что и делала в продолжение многих лет, до самой её смерти.

Совсем не то чувство было у меня к самому Ремизову, но о нем, моем соседе в продолжение почти 30 лет, напишу дальше.

\*\*\*

До войны 1939 года, т. е. первые пять лет, я вообще мало виделась с русской колонией – главным образом литераторами, приходившими в наш дом к Ремизову и к мужу. Была я очень занята своей новой работой, переводами и вообще было «не до гостей». Но муж мой, человек куда более общительный, был в постоянном контакте с членами русской колонии нашего дома и по его рассказам можно было только удивляться, сколько русских жило в этом доме,

а сколько ещё бывало в нем! На лестнице и у лифта куда чаще слышалась русская речь, нежели французская.

Из этого времени запомнился мне маленький разговор на лестнице с Ремизовым. Переводила я с английского книгу женщины-писательницы и все не решалась назвать ее «авторшей». Спрашиваю Ремизова – он всегда очень охотно останавливался, чтоб «посудачить о том, о сем», – как вы думаете, можно рискнуть перевести словом «авторша»? – А почему же нет? Теперь и в сов. России все пишут «докторша», а не «женщина-врач», как прежде. Так почему же не сказать «авторша»? Я послушалась. И сошло. В довершение своих слов Ремизов всегда так крепко жал руку при прощании, что убеждал сильнее слов.

А вот еще одна, хорошо запомнившаяся встреча:

Как-то поздно вечером, уже ложась спать, я услышала, что наше паровое отопление как-то странно и угрожающе шумит. Мужа не было дома: он что-то «крутил» для кино за городом и ночевал там же. Лежу в кровати и чувствую, что все равно не засну: так беспокойно шумит отопление. А наша квартира находится как раз над паровым котлом. А разбудить консьержку не решаюсь: муж ее был тюремным надсмотрщиком и все жильцы, а особенно русские, избегали контакта с ним. А он-то как раз и заведовал отоплением.

Встала, наконец, накинула халат и вышла на лестницу – было около часу ночи и движения на лестнице никакого. И вдруг слышу на этаже голос Ремизова:

– До свидания, заходите почаще!

И в ответ: – Непременно, непременно! До скорого!

– Ну, кто-то русский! – обрадовалась я, – попрошу его взглянуть на отопление! – тотчас же решила.

И что же! Вдруг вижу Евгения Ивановича Замятина.

– Ах, как я рада, что оказались вы! – кинулась я к нему. – Не можете ли взглянуть на отопление, отчего оно так страшно шумит?

– Не только взглянуть, но и исправить его! – рассмеялся он, видя мою испуганную физиономию. – Я ведь по образованию инженер и специалист по котлам!

Действительно «игра случая», как говорили раньше: писатель Замятин – специалист по котлам!

Спустились мы в подвал. Евгений Иванович что-то подкрутил, где-то подвинтил, подвигал какой-то рычажок.

– А теперь надо подождать с полчаса, чтоб увидеть, правильно ли я накрутил!

– Так пойдемте ко мне. Мужа нет дома. Хотите чаю?

– С удовольствием выпью!

Я быстро приготовила чай, вытащила какое-то нехитрое угощение и мы засели чаевничать.

Вспомнили Петроград, издательство «Всемирная Литература», где встречались в 20-х годах. Отопление было забыто (да оно и перестало шуметь), улица Буало тоже. Ожил возлюбленный Питер, русские литераторы, наши среды (приемные дни), Серапионовы братья, общие добрые знакомые: Корней Чуковский, Михаил Зощенко и пр. и пр.

Ушел он от меня часа в четыре утра, горячо поблагодарив за «незабываемую, но вполне невинно проведенную ночь», как он выразился на прощанье. Насколько помню, это был последний раз, что его видела.

Анна Кашина-Евреина

(Продолжение следует)

Анна Кашина-Евреинова

**Pro domo mea (7, Rue Boileau, Paris XVI)**

*Источник: Русская мысль. 1970. 20 авг. № 2804. С. 8.*

(Продолжение)

Объявление войны сильно испугнуло русских в Париже. Вдруг все заговорили по-французски, даже между собою, даже у себя дома. Многие предусмотрительно сейчас же уехали из Парижа. Русская атмосфера нашего дома потускнела. Вдруг начались непонятные аресты среди русских. В нашем доме арестовали племянника адмирала Вердеевского, незаметного служащего в «Самаритэн». Его сожительница, Ксения Леонтьевна Воронович, быв. губернаторша, муж которой был расстрелян в начале революции, дотоле дама очень церемонная, в высшей степени светская, теперь бегала по квартирам русских, ища хоть какой-нибудь помощи. Но никто ничем помочь не мог, не зная, за что и почему он арестован. Когда через несколько недель Вердеевский вернулся в Париж, то так никто и не узнал, почему его продержали в лагере. Это была одна из нелепостей войны. Но его арест сблизил нас с «салонном» мадам Воронович, который до сих пор был нам совершенно чужд.

\*\*\*

Исход из Парижа перед наступлением немцев был видением из Апокалипсиса, но о нем не буду писать.

Наш дом совершенно опустел: на 70 квартир остались занятыми не больше десяти и все без исключения русские. Даже консьержка с мужем тюремщиком убежали, оставив вместо себя итальянку Розу, у которой каждую ночь спал новый мужчина. «Я боюсь одна спать!» – объясняла Роза, невинно моргая глазами.

Хорошо помню утро, когда вошли немцы в Париж. Мы всю ночь не могли заснуть, слыша выстрелы, и только под утро слегка задремали. И вдруг я проснулась, услышав, что кто-то под моим окном плачет. Высовываю голову

– стекла у нас были все выбиты бомбардировкой, предшествующей вступлению немцев. И вижу – во дворе стоит здоровенный полицейский француз и, прислонившись к стене, рыдает навзрыд.

– Что с вами? – спрашиваю.

– Да ведь они уже стоят на авеню де Версаль. Что же делать?

Я поняла, что они это немцы.

– Послушайте, войдите к нам. Я сделаю кофе, и мы вместе напьемся... а главное – не плачьте!

Это была тоже одна из иллюстраций к современному Апокалипсису: рыдающий полицейский во дворе дома номера 7 по улице Буало.

Парень вошел к нам на кухню, вышел и муж из своей комнаты. Мы оба утешали полицейского, как могли. Кофе тоже помог, и он решил отправиться в свой комиссариат на бульваре Эгзельманс, чтоб получить инструкции. Мы тоже вышли с ним. На авеню де Версаль действительно стояла вереница немецких солдат-велосипедистов. Все очень молоденькие, почти мальчики, застенчиво улыбающиеся. Совсем нестрашные. Вернулись мы домой несколько успокоенные.

Через месяц-два как-то все утряслось, и оккупационный быт «вошел в свои права», как говорится. (Кстати сказать, никогда не могла понять этих «прав»!). Оставшиеся в доме русские стали только куда больше встречаться и делиться новостями, часто абсолютно фантастическими. Квартира Ремизова называлась у нас «Центросплетня» – оттуда шли самые невероятные слухи. Другим «центром информации» был «салон» мадам Воронович, усиленно слушавшей и английское и немецкое радио, и у которой каждый вечер собиралось несколько человек. Муж мой, человек нервный и очень общительный, метался между этими «информационными центрами», за неимением правильной газетной информации.

Больше всего я боялась его возвращения от Ремизова, квартиру которых я окрестила «блошиным рассадником». Приоткрыв дверь на звонок мужа, я, прежде всего, заставляла его пройти в ванную, раздеться и вытрясти там всю

свою одежду. Это было единственным тогда способом спасения от блох, коих у Ремизовых развелось несметное количество.

\*\*\*

Окончательным потрясением умов наших русских жильцов было вторжение немцев в Россию 22 июня 1941 года. Незабываемым остался мой короткий разговор с Ремизовым все на той же нашей лестнице:

– Ну, что вы думаете, Алексей Михайлович? – тревожно спрашиваю его.

А он мне отвечает по-немецки:

– Das ist die Ende!

– He die, a das, – машинально поправляю я его.

– Может, и das, тут я не спорю, но что конец, так уж это наверное!

– Чем конец? кому конец?

– Да большевикам!

– Ах, вот вы как думаете?

– Уж поверьте мне, старику! И скорый конец!

В «салоне» Воронович, куда я иногда поднималась, чтоб узнать, что говорят по заглушаемому английскому радио, тоже не сомневались, что «большевикам крышка». А мне делалось не по себе, когда я думала, что моя Россия станет немецкой колонией...

Но о политике размышлять мне было некогда – все первые четыре года оккупации муж был под абсолютным запретом, т. е. не имел права нигде работать, как бывший масон высокого градуса. Пьесы его тоже были запрещены. Приходилось мне «отдуваться за двоих».

Только к концу четвертого года оккупации у него появилась «нелегальная работа», а именно Сергей Лифарь, бывший в тесном контакте с немецкими властями, искал какой-нибудь оригинальный сюжет для балета в возглавляемой им Гранд Опера. Муж предложил ему сделать балет из грузинской поэмы «Шота Руставели» «Рыцарь в барсовой шкуре» С этой идеей Евреинов носился очень давно, живя еще в Тифлисе в 1918–20 гг. и несколько раз уже говорил о ней с композитором Н. Н. Черепниным. Лифарю

предложение понравилось. Он сговорился с какими-то разбогатевшими грузинами, чтобы сразу же профинансировать предприятие, и Евреинов приступил к работе. Помню, в эту зиму 43–44 годов мы часто ходили в Оперу: Лифарь хотел показать мужу все грани своего искусства – и как танцовщика, и как постановщика.

С этого времени наш дом стали посещать разные симпатичные грузины, начиная с исключительно европейски воспитанного Гегечкори, быв. министра иностранных дел Грузии, старого знакомого мужа еще по Тифлису. Часто заглядывал сам Лифарь. Бывала и Нина Ивановна Жордания, жена быв. президента Грузинской Республики.

К началу 44 года либретто балета было почти закончено, но Черепнину Лифарь предложил только две картины, отдав остальные знаменитому Оннэгеру и менее знаменитому Харсани.

В эту же зиму муж был приглашен (тоже полуофициально) в открывшийся русский театр, и в нашем доме появились бесчисленные русские актеры во главе с Е. Н. Рощиной-Инсаровой. Вообще русский язык снова воцарился, как на лестнице, так и в квартирах.

Здоровье Евреинова стало сильно сдавать – нервные переживания последних лет явно подкосили его силы. Осенью 43 года ему сделали первую операцию, весной 44 – вторую. Они еще больше ослабили его. Вспоминаю, как событие этого времени, визиты писателя Ильи Сургучева. Приходил он уговаривать мужа устроить «грандиозный театр», на который «немцы» – по его словам – «дадут сколько угодно денег». Но у мужа не было ни сил, ни охоты к такому предприятию, несмотря на всю его любовь к театру.

Когда я вспоминаю покойного Сургучева, автора когда-то многогранной пьесы «Осенние скрипки», то мне он неизменно представляется типичным русским кучером былых времен. Так бы и нарядила его в поддевку, сильно подбитую ватой, старомодный живописный кучерской цилиндр и посадила бы на козлы экипажа, в который впряжена лихая русская

тройка! К Парижу он совсем не подходил, несмотря на долгое в нем пребывание. Да, думается, и Париж ему не пришелся по вкусу.

\*\*\*

И вот наступил август 1944 года. Уход немцев. Они исчезли как-то слишком скоро.

Снова политический переполох, суэта, сборы, страхи. Кто-то уже уехал, кто-то собирался уезжать, а кого-то снова схватили и увезли в лагерь. Мы по-прежнему тихо сидели в своей квартире. Только появился новый элемент – фи-фи. Это были по большей части юноши, объявившие себя «старыми резистантами» и спасителями Франции, которые вели себя в высшей степени беззастенчиво, иногда и просто по-разбойничьи. Нам они изрядно надоели: наш консьерж имел неосторожность сказать им, что единственные жильцы с телефоном в нижнем этаже – мы, а потому они беспрестанно стучались к нам и надолго усаживались вызванивать по телефону.

Кстати, анекдот о нашем консьерже того времени. Теперь это был бравый солдат, быв. защитник Вердена, но и он панически боялся фи-фи.

Возвращаюсь как-то домой и вижу – забыла ключ. Стучу. Нет ответа. Но слышу, что муж возится на кухне. Сообразила, что не открывает дверь, думая, что это снова надоевшие фи-фи. Тогда я кричу: это я – я! Вдруг на площадку выскакивает наш консьерж: «Ради Бога, мадам, не говорите по-немецки! Ведь вас фи-фи немедленно арестуют!»

Мы с мужем долго хохотали в тот вечер, вспоминая инцидент, где русское «я» было принято за немецкое «да».

А вот и другой, почти трагический инцидент:

В нашем доме вывесили объявление, что в следующее воскресенье дадут горячую воду и можно будет взять ванну, роскошь, доставляемая жильцам очень редко. Я, как всегда, рано встала и сразу же выкупалась. Готовлю ванну мужу, зная, что к 8 часам уже не будет горячей воды. И вдруг звонок. Открываю, вижу Сергей <sic!> Мих. Лифаря в совершенно трагическом виде: – он всю ночь не спал, бродя по улицам Парижа. Добрые друзья посоветовали

ему уйти из своей квартиры, спасаясь от преследований неугомонных фи-фи. Я приготовила наскоро кофе и, несмотря на воскресенье, побежала работать, а муж усадил Лифаря и всячески постарался «рассеять его мрачные думы». Конечно, в то утро ему не удалось вымыться горячей водой.

Анна Кашина-Евреинова

(Окончание следует)

Анна Кашина-Евреинова

**Pro domo mea (7, Rue Boileau, Paris XVI)**

*Источник: Русская мысль. 1970. 27 авг. № 2805. С. 8.*

(Продолжение)

Сразу же после освобождения у Евреинова оказалось очень много работы: – во-первых, выступал по радио с своей серией воспоминаний: «Les grandes figures artistiques de la Russie contemporaine», рассказывая о своих встречах, работе и пр. с такими лицами, как Алексей Толстой, Владимир Маяковский, о своем учителе по Консерватории Римском-Корсакове, о Глазунове, о балетмейстере Михаиле Фокине, о писателе Мих. Зощенко и т. д. и т. д.

Вторым, сильно поглотившим его делом, был заказ парижского издательства написать срочно большую статью о советском театре, вышедшую затем в виде большого альбома с иллюстрациями. Ввиду спешности заказа муж обязался дать эту большую статью лишь по-русски, а изд-во уже само взялось найти переводчика статьи. И вот к нам явилась милая барышня, назвавшаяся Мадлен Шмид, в сопровождении русского типичного на вид еврея, которого она представила, как своего сотрудника по переводу статьи мужа. К нашему удивлению, еврей назвался именем грузинского князя Эристова. Как мы вскоре узнали от осведомленных лиц, этот «князь» действительно был усыновлен стариком Эристовым, который по словам тех же «осведомленных лиц» усыновил больше десятка евреев, спасавшихся от преследования немецкого Гестапо. Настоящая фамилия этого новоиспеченного «князя», как мне сказали, была Эйсер. Но каково же было наше удивление, когда после нескольких встреч, связанных с переводом статьи мужа, «князь» Эристов объявил нам, что он потомок... Чингисхана! Муж любил всякий «театр для себя», но мне претило делать вид, что я верю в

Чингисханство Эйснера, и наше знакомство само собой прекратилось. Но Мадлен Шмид, несмотря на протесты моего мужа, все же поставила фамилию Чингис-Хан <sic!> на перевод статьи Евреинова. К этому времени она стала женою своего сотрудника.

\*\*\*

Из этого же промежутка времени вспоминается мне один обед у нашей соседки по дому Е. Д. Унбегаун (5-й этаж). Она тоже занималась переводами.

– Приходите завтра ко мне обедать, – прочла я на записке, подсунутой под дверь, – будет Бунин, борщ и водка.

То ли водка, то ли борщ, но обед с Буниным прошел более чем оживленно. И муж, и Иван Алексеевич, и сама хозяйка (она в ту пору переводила какой-то рассказ Бунина) сильно выпили, и хохот и анекдоты не прекращались до полуночи. Сама я никогда не пью ничего спиртного и потому была, хоть и вполне трезвой, но и вполне благожелательной наблюдательницей этого безудержного веселья более чем взрослых детей. И осталось одно благодарное впечатление: до чего эти трое сильно пожилых, культурных русских – еще дети, могущие так веселиться после тяжких лет войны. Неужели это только водка, и неужели правда, что «веселие Руси есть пити». А без этого «пити» нет и веселия?

\*\*\*

Еще один анекдот: – возвращаюсь как-то вечером домой, муж открывает дверь и шепчет: «У нас Владимир Польш, пришел поговорить по делу. Приготовь нам чайку!»

Композитора Поля я уже встречала несколько раз: – высокий, худой, дон-кихотский на вид, совсем седой. Делаю «гостеприимное лицо», вхожу в комнату, чтоб поздороваться, и... отшатываюсь в ужасе обратно в переднюю – длинный старый Польш стоит на голове посреди комнаты. Оказывается, он занимается какой-то специальной гимнастикой, обязывающей его становиться на голову, и муж мой подговорил его меня эпатировать!

Опомнившись, спрашиваю:

– Чай вам подавать на полу или вы вернетесь в нормальное положение?

Пили чай, «как все люди».

\*\*\*

Потом пошла смерти. Первая умерла Серафима Павловна Ремизова в больнице, что напротив нашего дома.

Там же скоро скончался и племянник адмирала Вердеровского.

Недолго пережила его и сама Ксения Леонтьевна Воронович...

Я была очень занята эти годы болезнями и операциями мужа, а в перерывах между ними помогала ему в написании его «Истории русского театра», заказанной изд-вом. Вышла она сначала по-французски, а несколькими годами позже по-русски в «Чеховском изд-ве».

Этот период жизни был крайне тягостным, безрадостным, с утомительной работой, бессонными ночами около тяжело больного мужа, который не переставал работать над заказанной изд-вом «Историей». Наша жизнь сузилась до крайности, моментами почти замирала... Да и дом наш как-то отмирал, особенно в своей русской колонии. Уже редко слышалась русская речь на лестнице, разве кто забредет навестить больного мужа или слепнувшего Ремизова. Но тут стали наезжать или совсем возвращаться беглецы из Америки или с юга Франции. Среди них старые знакомые – Софья Прегель, Елена Рубисова, Бутковская-Шервашидзе и др.

Вот и последний маленький анекдот: оставалась она у нас и просит свести ее с Н. А. Тэффи, ее старой знакомой еще по Петербургу (у Бутковской там было небезызвестное изд-во «Современное Искусство», выпустившее несколько книг мужа). Звоню Надежде Александровне: «Приходите, дорогая, пообедать!» – «К вам могу! – отвечает – потому что вы живете в рэ де шоссэ! У меня теперь знакомые, к которым хожу, должны жить не выше первого этажа. Доктор запретил подниматься выше». – «Ну, очень рада, что этажом в точку попала! – шучу и добавляю: – У нас сейчас Наталья Ильинишна Бутковская-Шервашидзе. Очень хочет с вами повидаться!»

Надежда Александровна как-то замялась, а потом робко спросила: – Скажите по совести, а она еще не разваливается?

– Нет, нет, еще хорошо держится, несмотря на возраст!

– Ну то-то, я ведь теперь избегаю встречаться с теми, которые уже разваливаются!

Прообедали они у нас часов до 12 ночи. Пришлось мне пойти провожать Тэффи до дому – она жила недалеко, на авеню де Версаль.

Кажется, это и был последний раз, что я видела Тэффи у нас, да и Бутковскую тоже...

«Все они умерли, умерли...», – вздыхает Тургенев в одном из своих стихотворений в прозе. Вздыхаю за ним и я...

А муж Бутковской, художник А. К. Шервашидзе дожил до 101 года и только прошлый год покинул «сей бранный мир»...

\*\*\*

25 августа 1953 года – помню отчетливо эту дату – пошла на почту, надеясь узнать, когда же кончится забастовка, длившаяся уже много дней. Накануне мы закончили считку русского манускрипта «Истории русского театра» мужа, и я уже приготовила пакет для отсылки в Нью-Йорк в Чеховское изд-во. Уходя из дому, захватила и пакет, а вдруг забастовка кончилась! И, действительно, я была первым лицом, отправлявшим заказной пакет. Окрыленная радостью, возвращаюсь домой и рассказываю мужу, как и что. А он грустно посмотрел на меня и тихо проговорил, почти прошептал:

– Ну, теперь уж дай мне помереть!

У меня все упало внутри: было в его словах что-то потустороннее убедительное, окончательное, безусловное... Я выскочила из комнаты, чтоб при нем не разреветься. А я отнюдь не плакса. Так меня поразили и его голос, и его взгляд.

7-го сентября в 5 час. утра он заснул навсегда...

\*\*\*

По поводу смерти мужа Ремизов написал статейку под заглавием «Потихоньку, скоморохи, играйте».

Помню, пришел ко мне Сергей Маковский и негодовал на заглавие, да и на самую статью. А я хорошо поняла Ремизова и была ему благодарна.

Кстати, о Сергее Маковском, с которым я очень подружилась после смерти мужа и обязана ему моим возвратом к писательству, совсем заброшенному в продолжение многих лет. Приходя ко мне, Маковский, смеясь не раз говорил: – «Много лет ходил я к Ремизову и лишь изредка заходил к Евреиновым. А теперь часто хожу к Евреиновой и лишь заглядываю к Ремизову. Правда, он становится все дряхлее и дряхлее и разговор с ним как-то не вяжется».

Вскоре и Ремизов умер.

За ним умерла и наша добрая соседка и переписчица на машинке Е. Д. Унбегаун. А за нею перестал приходить и Сергей Маковский, тоже переселившийся в другой мир...

Дом наш становился каким-то живым памятником, на фасаде которого вписывались все новые и новые имена. И минутами казалось – вот-вот увижу и я собственное имя...

Чувство беспокойное, даже тягостное. Но, как всегда, меня спасает любовь к поэзии, к отходу от личности, и слегка перефразируя Булата Окуджаву, я могу сказать про себя его словами:

Когда мне невмочь пересилить беду,  
Когда наступает отчаянье,  
В зеленый автобус сажусь на ходу,  
Последний, случайный.  
Последний автобус, по улицам мчи,  
Верши по бульварам круженье,  
Чтоб всех подобрать потерпевших в ночи  
Крушенье, крушенье...  
Я с ними не раз изживала беды <sic!>,

Я к ним прикасалась плечами,  
Как много, представьте, людской доброты  
В молчаньи, в молчаньи <sic!>...

Вот эту «доброту в молчаньи» я и молю обрести «на вечное поселенье»  
в моей душе. А потому смолкаю.

Анна Кашина-Евреина

Париж, июль 1970 г.